

Е. Г. Степанян

О Михаиле Булгакове
и «собачьем сердце»

второе издание



Оклик
2011

УДК 801.733:821.161.1-31Булгаков М.А.
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
С79

Степанян, Е. Г.

С79 О Михаиле Булгакове и «собачьем сердце» / Е. Г. Степанян. —
2-е изд. — М. : Оклик, 2011. — 64 с. — ISBN 978-5-91349-016-2

Поэт и драматург Е. Г. Степанян, автор известного романа-драмы «Царский выбор», поражает читателя ярким произведением совершенно иного жанра. Это эссе — поданная в остроумной художественной форме литературоведческая работа, новое слово в булгаковедении, проникающее в глубину архетипа булгаковского мировидения. За буквой фантастической реальности автор распознаёт и открывает читателю истинный духовный замысел Михаила Булгакова.

ISBN 978-5-91349-016-2

© Е. Г. Степанян, 2009

© «Теревинф», 2011



— Я вскрыл целую тысячу трупов, и ни в одном из них не обнаружил никаких признаков души, — заявил профессор Мечников. В ответ, несомненно, раздались аплодисменты.

Дело происходило на заре XX века. Новый бог был дан людям. Имя ему Наука. Возражать жрецу Науки было всё равно, что признаться... — но никто не признавался! Младенца не нашлось, который задал бы прославленному ученому самый естественный вопрос — что́ это он вздумал отыскивать душу в предмете, который, собственно, и характеризуется отсутствием души? Сказано, что нет души — значит нету! А раз нету, то и не было никогда.

А что же тогда было и есть? — Труп. Просто сначала этот труп живой, а затем — мёртвый.

В повести М. А. Булгакова «Собачье сердце» выдающийся учёный Ф. Ф. Преображенский в процессе эксперимента неожиданно для себя решает небывалую задачу — создает на основе мертвого трупа новую человеческую единицу. Труп, таким образом, выступает в качестве по-

дателя жизни. Что это — литературная фантазия? Ничуть! Недаром же научно обосновано и в школьные учебники записано — живое происходит из неживого, органическое из неорганического. Оспаривать эту истину — всё равно что отрицать последовательность элементов гениальной таблицы Менделеева. Это занятие, достойное не просто обскурантов и невежд, а форменных животных. И одно такое животное, пёс Шарик, герой вышеупомянутой повести Булгакова, позволило себе взобраться на стол своего высокоучёного хозяина — и так засветило по портрету профессора Мечникова, что только осколки посыпались. Рискованно, что ни говори. И не только со стороны пса, но и со стороны автора повести.

Михаил Булгаков приобрел свою первую известность романом «Белая гвардия». Роман этот, напечатанный ничтожно малым тиражом, понравился многим. Немногих же — например, провидца Максимилиана Волошина — он ошеломил. Это было предвосхищение того ошеломляющего впечатления, которое произвело на Россию, а затем и на весь мир, главное творение Булгакова — «Мастер и Маргарита».

В чем же крылась причина этого изумления? Что, собственно говоря, произошло? — А произошло то, что один человек, М. А. Булгаков, вновь обрёл то видение мира, которое большинством людей было вовсе утрачено.

Что же увидел Булгаков? *Небо отверстым и ангелов, нисходящих к сынам человеческим.* И не просто увидел, а сумел поведать об этом всем и каждому, запечатлев увиденное в самой доступной, в самой любимой к тому времени художественной форме — в романе.

Европейцы XIX века любили роман такой любовью, что лучше её ни с чем не сравнивать — пусть она останется несравненной. В основе этой любви лежала величайшая потребность человеческой души — любить ближнего, как самого себя. В лице романских героев читатель обретал именно таких ближних, а любовь к ним была ещё тем хороша, что осуществлялась без малейших моральных и материальных затрат. Стремление окружить себя всяческим комфортом, и прежде всего, моральным, — главная черта, отличающая образованного европейца от варваров всех мастей.

Но и эта любовь пришла к концу — в науке он зовётся «кризисом романа». Ибо нет ничего вечного под тем небом и на той земле, где живут герои добулгаковского романа, где стирает своё бельё «Прачка» Шардена. Посмотрите на неё, уже который век занятую своим бесхитростным трудом! Разве она не достойна любви? Разве не достоин похвалы художник, запечатлевший её и давший нам возможность видеть этот милый облик через много лет после её смерти? — В том-то и беда, что смерть её уже здесь, она царствует в этой картине. Ведь небо над головой Прачки —

это сгущение лёгких частиц, за которыми пустота, а земля под её ногами — это вцепившиеся друг в друга элементы таблицы Менделеева. И нет у Прачки иного пути, чем разложиться на все эти частицы и элементы, и знал об этом Шарден, когда её рисовал. Поэтому не живую Прачку видим мы на полотне, а давным-давно мёртвую. А значит, и ни к чему лезть на рожон и возражать что-то профессору Мечникову.

Но вот происходит нечто, что можно условно назвать чудом, и у человека открывается иное зрение, и он начинает видеть мир не таким, как на картине Шардена, а, скажем, таким, как на росписи церковной стены. И он видит — не на картине, не на росписи, а наяву *небо отверстием*, и видит, что отверстие оно над головами тех, кто уверовал в свою абсолютную смерть, кто согласился признать себя живым трупом, и вот теперь носится туда-сюда, пока не придёт в окончательное состояние. А под ногами их он, этот прозревший, видит *ад преисподний, приходящий в движение* ради того, что происходит на земле.

И оказывается, что за истекший период ничего не изменилось ни *на небе вверху*, ни *ниже земли* — всё до удивления похоже на то, как это было когда-то нарисовано на церковной стене. Один лишь земной мир выглядит по-иному, поэтому визитёрам «снизу» приходится обзаводиться кепками, пиджаками, треснутыми пенсне и прочей дрянью, чтобы не слишком выделяться из общей массы.

Но вот он, прозревший, привыкает к этой многомерной картине, и тогда его взгляд начинает различать ещё более удивительные вещи. Он всматривается в происходящее между небом и землёй и видит, что все эти пиджаки и пенсне, трамваи и аэропланы, словом, все приметы времени, создающие его неповторимый облик, можно взять и смести в сторону, как никчемную кучу хлама. А то, что с трепетом обнажается при этом — да разве это не то же самое, что нарисовано на церковной стене? Всё похоже, всё, даже приземистая Лысая гора.

Таким дано было видеть мир Михаилу Булгакову в то самое время, когда наука — всё на свете уже объяснившая и обещавшая всё по-своему переиначить — торжествовала окончательную победу. Окончательную, но не бесповоротную.

Горе живущим на земле... ибо к вам сошёл
дьявол в великой ярости, зная, что недолго
ему осталось.

Поначалу Булгаков создаёт сатиру на эту победоносную науку — повесть «Роковые яйца». Всё в этой повести великолепно: и очумелый профессор Персиков, похожий на рептилию, и бледный завистник ассистент Иванов, и большевик Рокк, расстриженный из комиссаров в хозяйственники. И то, как Рокк пытается при

помощи браунинга руководить научным процессом, и то, как сам Персиков звонит поминутно на «эту, как её, Лубянку» с просьбой расстрелять всех тех, кто мешает ему работать. Мудрая повесть, и правдива её горькая мораль: современная наука способна погубить и всё вокруг, и самих творцов своих. Всё это так, никто не посмеет сказать, что «Роковые яйца» бьют мимо цели. Однако наука не дрогнула.

И тогда Булгаков написал новую повесть о талантливых учёных и выдающихся научных открытиях — «Собачье сердце».

Формально её можно расценить как произведение, посвящённое новому этапу торжества науки: герою, профессору Преображенскому, удаётся, в отличие от Персикова, совладать с взбунтовавшимся против него творением собственных рук. Но не стоит спешить с выводами на основе формальных признаков. Ведь в то же самое время, опять же формально, «Собачье сердце» — сатира, тому свидетель каждый, кто его читал. Следовательно, необходимо разобраться, торжествует ли в данном случае наука или подвергается осмеянию. А если не наука здесь осмеивается, то что же? Гоголевский вопрос — «Над чем смеётесь?» — оказывается тут необыкновенно уместным. Увы, ещё более уместным оказывается тут гоголевский ответ — «Над собой смеётесь!» Да, над собой смеётся читатель «Собачьего сердца», и не какой-то там абстрактный, произвольный читатель, но читатель образованный,

и хорошо образованный, осведомлённый в новейших достижениях науки, уверовавший в неё до конца, в то, что она призвана заменить ему Господа Бога, отца и мать, стыд и совесть. Этот читатель — незримый герой, вынесенный за пределы текста — и служит главным объектом осмеяния в «Собачьем сердце». Это его дурачит и водит за нос автор, это он оказывается разоблачённым до такой степени, что вот уже видишь, как скальпель щекочет его голые рёбра с коварным вопросом — не отыщутся ли здесь какие-нибудь признаки души?

Нет, читатель, как ты ни отнекивайся, как ни ссылайся на профессора Мечникова, душа у тебя всё-таки есть. И именно на её наличие делал Булгаков свой безошибочный расчёт, иначе стал бы он вообще затеваться с «Собачьим сердцем», да и с любым другим произведением? Не зря же, раскрыв «Собачье сердце», ты сразу находишь, к кому прилепиться душой — вот он, герой, учёный, бесстрашный преобразователь природы. Его, Филиппа Преображенского, полюбишь ты как самого себя, и умилишься всем, что ему мило, и возненавидишь всё, что ему враждебно, что мешает его победоносному движению вперёд.

Но знай, читатель, не будет тебе в этой любви счастья, не добьёшься ты взаимности от Ф. Ф. Преображенского, не полюбит он тебя никогда. Чтобы убедиться в этом, надо перечитать «Собачье сердце», перечитать очень внимательно, слово за словом, ибо написано оно

автором, который хорошо знает, что за каждое слово предстоит держать ответ, и поэтому не позволяет себе ничего не значащих, случайных слов.

Итак, приступим. Воплем Шарика — «О, гляньте на меня, я погибаю!» — открывается «Собачье сердце». И ты, читатель, идёшь на этот зов и оказываешься внутри особого мира, сотворённого булгаковским словом, — будь поэтому внимателен к каждому слову! — и живущего по строгим законам. Хотя снаружи этот мир невелик — меньше пяти печатных листов, трудно будет тебе выбраться из него, и страшным покажется он тебе, хоть ты и много смеялся, читая «Собачье сердце» в первый раз, да и перечитывая, всякий раз засмеёшься опять.

В самом деле, можно ли удержаться от смеха, слушая, как бездомный пёс критикует советский общепит! А между тем, он осуществляет своё естественное право, ведь доказано — научно доказано! — что никакой души нет, есть только недолгий период физических ощущений (они же — мучения) между двумя чёрными безднами. Существа же, данные ощущения испытывающие, располагаются друг за другом на эволюционной лестнице (О, цепь величайшая от пса до Менделеева-химика! — *И. А. Борменталь*). И в какой-то момент эта лестница так плавно переходит в лестницу социальную, что уловить этот момент не так-то просто. Вот например, тот же Шарик из помойного пса становится домашней собакой крупного учёного.

Его пищевой рацион сразу же начинает играть такими красками и оттенками, которые и не снились мелкому служащему, вынужденному травиться в дешёвой столовке. Смело можно сказать, что между Шариком и упомянутым служащим образовалась социальная пропасть. Следовательно, перед шариковым головокружительным вознесением между ними существовало известное равенство. И поскольку никакой души ни у того, ни у другого и вообще ни у кого нет, основным критерием отличия одного животного от другого (а также человека от человека) становится способ и качество питания. У Шарика с первой страницы «Собачьего сердца» есть веские основания быть недовольным своим питанием, равно как и всей своей судьбой. Ему явно не повезло. Ведь вполне бы мог он родиться от миссис Дарвин в культурнейшей Англии, а не — родился от безвестной шавки в варварской России, да ещё в период разрухи. Тяжело ему приходится. Да и не ему одному. Тем, кто соседствует с ним на эволюционно-социальной лестнице, тоже приходится несладко — голод, холод, неразбериха во всём. Время такое, что даже щи из вонючей солонины, что варят в Совете нормального питания, не каждому двуногому прямоходящему достаются. Иные из них, подобно четвероногим (собратьям? коллегам?), и в помойках роются, и там не всегда находят. Учти это обстоятельство, дорогой читатель, когда будешь смеяться, слушая, как пересотворённый Шариков тычет профессору Преображенскому: «Один

в восьми комнатах живёт, а другой в помойке роется». Но Шарик-собака никому не тычет, он только стенает — голод, холод, бок кипятком ошпарен! — и, надо отдать ему должное, жалеет не одного себя. Он ведь стоит на нижней ступени великой лестницы, с достижениями науки не знаком, никто ему не объяснил, что души нет, вот он и даёт себе волю — со-чувствует, страдает, что при отсутствии души и бессмысленно, и просто невозможно. Сам подыхать собрался, а всех ему жалко — и посетителей дешёвой столовки, и машинисточку, которую утесняет подлец-любовник. Внимание! — не успела машинисточка всплыть в сознании Шарика, в его сбивчивом монологе, как вот уже она входит в подворотню и с взаимной жалостью обращается к несчастному псу: «...Чего ты скулишь, бедняжка? Кто тебя обидел?» Машинисточка **реализовалась**. Это только начало. В «Собачьем сердце» ни одно слово не пропадёт зря. Всё реализуется. И подлец-любовник, который возник в шариковом монологе-бреду с восклицанием: «Сколько ни накраду — всё на женское тело, на раковые шейки, на Абрау-Дюрсо. Потому что наголодался я в молодости достаточно, а загробной жизни не существует», — он тоже будет реализован, только не скоро, запомни пока его, читатель, и слова его постарайся запомнить, потому что вскоре ты позабудешь обо всём на свете.

Читатель недоумевает. С какой стати я должен позабыть обо всём на свете? — В силу наличия у тебя этой

самой недоказанной души, её способности со-страдать и со-чувствовать. Ведь прочитав первую страницу, ты уподобился Ромео, который до встречи с Джульеттой расточал свои чувства первой попавшейся Розалине. Ты увидел голодного пса с ошпаренным до костей боком, и тебе жалко его до слёз. И когда богатый чудаком поманит его куском колбасы и поведёт за собой по Пречистенке, и дальше, дальше, мимо приличнейшего швейцара Фёдора, вверх по роскошной лестнице в свою неуплотнённую квартиру, — ты будешь бесконечно благодарен Филиппу Филипповичу и счастлив так, как будто тебя самого, голодного, израненного, согрели, исцелили, обласкали. Неважно, что впоследствии тебе суждено возненавидеть Шарикова, вставшего поперёк научного прогресса. Сейчас это не имеет никакого значения. Сейчас ты разомлел вместе с Шариком на ковровом узоре возле кожаного дивана, и всё, что в ближайшие часы произойдёт в этой великолепной квартире, будет воспринято вами обоими сквозь сладостную дремоту.

Очнись, читатель! Вспомни, что ты перечитываешь «Собачье сердце». Конечно, ты опять увлечён ходом событий, ты вновь со-переживаешь (и так будет и при десятом, и при двадцатом прочтении, такова сила настоящего искусства), но ты уже обязан знать, что Шарик обманулся, что его, страдающего пса, привели сюда не из со-страдания, а для опытов. Кроме того, потрудись отметить, что Филипп Филиппович даже не увидел, что

у пса ошпарен бок, а заметившая это идеальная домработница Зина прониклась к нему отнюдь не жалостью, а отвращением — «Батюшки! До чего паршивый». Отметил? — Наблюдай дальше!

Кабинет Филиппа Филипповича — пёс уже разобрался, что это крупный учёный, экспериментирующий в области омоложения путём пересадки половых желез, — начинают заполнять странные существа. Кто они с точки зрения эволюционной теории? — *Козлы и обезьяны!* — так сказал Шекспир устами своего Венецианского мавра, ибо в его веке этих бедных животных незаслуженно считали воплощением самого гнусного разврата. Но с тех пор прошло столько времени, науке открылись такие горизонты, что человечество стало шире смотреть на вещи. Если во времена Шекспира клиенты Филиппа Филипповича были козлами и обезьянами, то за истекший период они поднялись по эволюционно-социальной лестнице на такой верх, что иным двуногим их только в подзорную трубу и разглядывать. И вот доказательство — деньги! У них кучи денег — и у зеленоволосого развратника, смахивающего на чёрта, и у старой ведьмы в сверкающем колье, и у всех прочих. И деньги их плавно текут в карман белоснежного профессорского халата — вот ведь хитрый пёс, заснул почти, а червонцы примечает. Наконец, его совсем сморило, и один из посетителей совершенно расплылся в его сознании, пёс расслышал только голоса:

— Господа, — возмущённо кричал Филипп Филиппович, — нельзя же так. Нужно сдерживать себя. Сколько ей лет?
— Четырнадцать, профессор... Вы понимаете, огласка погубит меня.

Читатель, взглядишь в этого посетителя, ведь ты же не пёс. И хотя «Собачье сердце» утверждает, что собаки тоже умеют читать, но Достоевского они всё же не читают. Но ты-то его наверняка читал. И когда он показал тебе Свидригайлова, ты испытывал всё, что положено — и отвращение, и стыд, и даже раскаяние, ведь не вынес же Свидригайлов собственной мерзости, застрелился. Этот не застрелится. Под другим небом он живёт. Наука ему всё объяснила, всё позволила, от стыда освободила, и та же наука, в лице Филиппа Филипповича, поможет ему ликвидировать все нежелательные последствия. Да и ты, читатель, судя по всему, спокоен и не торопишься кого-то осуждать. Достоевский со своей совестью в книжном шкафу лежит, науку ты уважаешь, Филипп Филиппович тебе очень симпатичен. И в самом деле, человек даже прислуге своей не разрешает взять в рот моссельпромовскую колбасу! А как он изящно, с юмором отчитывает её по этому поводу — заслушаешься:

— Взрослая девушка, а как ребёнок тащишь в рот всякую гадость... Ни я, ни доктор Бор-

менталь не будем с тобой возиться, когда у тебя живот схватит...

А сколько раз «Зинуша», «детка»! А какой переполох поднимается, когда Шариков дважды пытается покушаться на её добродетель (эпизод с червонцами и ночной визит)!

Но ясное дело, одним сюсюканьем с прислугой не завоюешь такого образованного читателя, как наш. А вот рассуждение Филиппа Филипповича о терроре — это уже аргумент посильнее.

— Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса? — спрашивает Борменталь.

И Преображенский отвечает:

— Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом.

(Вот откуда и «Зинуша», и «детка». Слышишь, читатель? Нет, ты не желаешь слышать, ты упиваешься речью Филиппа Филипповича.)

— Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни

стояло (!! — Е.С.). Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный и даже коричневый. Террор совершенно парализует нервную систему.

И несколькими страницами позже:

— Драть никого нельзя. На человека и на животное можно воздействовать только внушением.

Да неужели посмеет интеллигентный человек что-нибудь возразить на эти слова? Золотые слова. И произнесены они необычайно вовремя. Перед самым явлением пациентов. Читатель уже настолько расположен к Филиппу Филипповичу, что готов оказать снисхождение всякому, кто включён в сферу его бытия, если он, этот всякий, конечно, не выступает в роли обидчика героя. (Обидчики появляются в следующей сцене.)

И в самом деле, визитёры Преображенского комичны, даже мерзковаты, если говорить начистоту, но он-то здесь причём? Он врач, он помогает каждому, кто к нему обращается, он, между прочим, клятву Гиппократова давал. Он ведь не насильно превращает их в животных, вставляя им обезьяньи железы, они сами его об этом просят. Находясь на столь головокружительном

верху эволюционной лестницы (такие деньги! такие деньги!), можно позволить себе и опуститься на несколько ступенек. Средства, во всяком случае, позволяют. Но главное-то, главное — выигрывает наука (в лице Преображенского), наука движется вперёд!

Правда, Шарик, лёжа на ковре, отметит мысленно: «Похабная квартирка», — и тут же добавит: «Но до чего же хорошо!» Но ты, читатель, отныне выслушиваешь шариковы мнения только для того, чтобы посмеяться. Собака для тебя уже пройденный этап и по части эволюции, и по части симпатий. Ты, как принц Гамлет, «нашёл себе магнит попритягательней». Пёс, между прочим, в сочувствии больше не нуждается. Он устроен в прекрасной квартире, жрёт в три горла, обласкан...

— Да его для опытов сюда привели!!!

Читатель высокомерно поднимает брови и парирует:

— Немалая честь для бездомного пса послужить прогрессу науки!

Вот до чего непостоянна человеческая душа — ведь ты же только что страдал вместе с ним в холодной подворотне! Поневоле прислушаешься к профессору Мечникову.

Но в сторону сантименты. Четверо обидчиков уже явились в кабинет Преображенского и требуют к себе самого пристального читательского внимания. Они представляются:

— Мы — новое домоуправление нашего дома... Я — Швондер, она — Вяземская, он — товарищ Пеструхин и Жаровкин.

Повествование вступает в новую, остро-драматическую фазу. Начинается борьба не на жизнь, а на смерть между учёным Ф. Ф. Преображенским и домкомом в лице его председателя Швондера. Последний желает принудить Преображенского разделить всеобщую кошмарную участь — стать жильцом коммунальной квартиры. Учёный отчаянно сопротивляется. В ходе их первого поединка читательская симпатия к Филиппу Филипповичу перерастает в иное чувство, горячее и сильное, в ту любовь, которой, как было сказано выше, суждено остаться без взаимности.

Во-первых, ничто так не усиливает любви, как тревога за дорогое существо, это отмечено у Овидия и у Ибн-Хазма. А у читателя есть все основания тревожиться за своего героя. Во-вторых, именно во время этой сцены читатель впервые узнаёт, что Филипп — не один из многих, пусть даже крупных учёных, а звезда первой величины. Подобное открытие никогда не охладит любовное чувство, а, напротив, подогреет его. И в-третьих, если верить Овидию и Ибн-Хазму, самый пламенный из всех видов любви — это любовь за проявленный героизм. И именно в этой сцене Филипп Филиппович совершает такой геройский поступок, что у читателя открывается рот и останавливается

сердце. Учёный заявляет, что он «не любит пролетариата». Заявляет прямо ИМ в лицо. Пускай ОНИ представлены здесь всего лишь членами домкома, но мы-то знаем, что за этим стоит, что олицетворяет этот домком, ведь художественное произведение, как-никак!

Верно говоришь, читатель, высокохудожественное, и заслуживает поэтому тщательного анализа, а не поверхностных эмоциональных оценок, которые суть не что иное, как паника и истерика. Вот, полюбуйся на своего героя — он совершенно спокоен; ты за него рас-переживался, а он твоих переживаний (и вообще твоих чувств) отнюдь не разделяет. Он-то хорошо видит, кто и что перед ним.

Пойдём с конца. Во-первых, Жаровкин. Посмотришь — вроде бы, фамилия как фамилия. А принюхаться — тушёной говядиной отдаёт. Затем Пеструхин. Пеструхами обычно коров зовут, но встречаются и куры того же прозвания. Во всяком случае, происхождение незваного гостя вполне прозрачно. Теперь Вяземская. Да не введёт её «человеческая» фамилия в заблуждение нашего вдумчивого читателя. Вяземская — это просто порода коров, ныне безвозвратно загубленная. Пеструхин и Вяземская, судя по некоторым авторским ремаркам, связаны нежными узами. Натурально, ведь из одного стада. Наконец, Швондер. Он хоть и прикрылся фигово-иностранными корнем и суффиксом, но от него так и несёт и хвостом собачьим (шванц), и свинарни-

ком (швайн). В общем, в «цепи великой от пса до Менделеева-химика» на эволюционно-социальной лестнице им удалось пристроиться чуть повыше того же Шарика, но ненамного (у них и денег-то, наверное, едва-едва). Ну могут ли их претензии всерьёз взволновать Филиппа Преображенского, который стоит на самой верхней ступени пресловутой лестницы?! Или ты думаешь, читатель, что и Пётр Александрович испугается, узнав, что Вяземская корова собирается разъяснить его на дискуссии?

Филипп Филиппович звонит Петру Александровичу, Пётр Александрович велит домкому убираться, Вяземская мычит на прощание, что Филипп Филиппович — «ненавистник пролетариата», он преспокойно с ней соглашается. Узреть в данном случае какой-то героизм в поведении учёного мог только пёс Шарик:

Пёс встал на задние лапы и сотворил перед
Филиппом Филипповичем какой-то намаз.

И ты, читатель, стыдно сказать, ему уподобился. И тревога твоя за дорогого тебе учёного — ложная. Ничего ему не грозит. Он это прекрасно знает. И если он гневается, то по другой причине, но совершенно справедливо. Во-первых, ему ковры испачкали, а он их очень уважает, чуть ли не по отчеству зовёт — «все ковры у меня персидские». А во-вторых, к нему ворвались и грубо отвлекли его в тот момент, когда он собирался

обедать!!! Тут необходимо отметить, что наука, пришедшая на смену всем прежним религиям, превзошла их также по части терпимости и гуманности. Хотелось бы посмотреть на этого Швондера где-нибудь в Древнем Риме или в Египте, если бы он преградил дорогу Верховному жрецу, идущему во Храм для вкушения священной трапезы, и стал бы дискутировать с ним по поводу излишков жилплощади, у данного жреца имеющих. Хотелось бы посмотреть, что после этого осталось бы от такого Швондера.

Но вот он с позором удаляется, а Жрец, вновь обретя спокойствие, без которого немислимо священнодействие, вступает в столовую.

Веди себя прилично, читатель, не про тебя всё это — ни хрустальные графинчики с разноцветными водками, ни серебряное крытое блюдо, источающее пахнущий раками пар, ни маринованные угри, ни нарезанная тонкими ломтиками сёмга, ни сыр в слезах, ни обложенная снегом икра в серебряной кадлушке. Тебе, равно как и собаке Шарикку, отведена здесь роль наблюдателя, и насмешник-автор ничуть от тебя не скрывает, что ты присутствуешь не на простом обеде (такой обед даже стыдно назвать простым), а при некоем священном ритуале.

Стол подобен **гробнице** — аналогия с жертвенником.

Салфетки свёрнуты в виде **папских тиар** — аналогия с первосвященником. Ниже говорится, что «во время этих обедов Филипп Филиппович получил звание

божества». Всё верно, во всех мистериях именно первосвященник выступает как заместитель божества.

Во время трапезы Филипп Филиппович **проповедовал.** И тема его проповеди — не что иное, как Еда.

— ...Есть нужно уметь, а представьте себе — большинство людей вовсе есть не умеют. Нужно не только знать — что съесть, но и когда и как. (Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой.) И что при этом говорить.

Запомни эти слова, читатель! Не потому, что они имеют для тебя практическое значение, ибо в столовке, где ты травишься, подобные сведения — это информационный балласт. Запомни их потому, что впоследствии они помогут тебе разобраться в системе взглядов Филиппа Преображенского и выбраться наконец из лабиринта собачьих сердец.

Но всё происходит наоборот. Читатель немедленно забывает важнейшие положения проповеди Филиппа Филипповича, потому что слышит от него нечто такое, что для интеллигентного человека слаще всего на свете и может сравниться только с чёрной икрой. Великий учёный начинает и в хвост и в гриву честить ИХ.

— Если вы заботитесь о своём пищеварении, мой добрый совет — не говорить за обедом

о большевизме... И — боже вас сохрани —
не читайте советских газет.

Что, съели?!

Или вот такой пассаж:

— Люди... которые вообще отстав в развитии
от европейцев лет на двести, до сих пор ещё
не совсем уверенно застёгивают собствен-
ные штаны...

Так их, так их!

Но это всё же не апофеоз. Апофеоз читательского восторга происходит в том месте, где Филипп Филиппович высказывается о событиях 1917 года. Что же произошло, по профессору Преображенскому, в этом достопамятном человечеству году? А вот что:

— В марте 17-го года в один прекрасный
день пропали все калоши, в том числе **две
пары моих**, три палки, пальто и самовар
у швейцара!

Читатель заливается счастливым смехом и, вытащив из карманов оба кукиша, громко аплодирует.

Ах, читатель! Злорадство твоё — в чужом пиру похмелье. А профессор Преображенский вовсе не острит, он говорит чистейшую правду. В одна тысяча девятьсот

семнадцатом году **для него** не произошло ничего более существенного, чем пропажа калош. Потому что стоял он и стоит на такой высоте, что все потрясения и бури мировые проходят **под ним**, и пенистые гребни взметённых волн достают только до его ступней, то бишь до калош.

И нет ему дела до того, что у тебя на дворе, читатель, — война ли мировая, разруха ли, нэп ли, всё это пройдёт под ним. Вот поэтому ни к чему ему читать газеты. Нет ему дела до смены режимов, до борьбы всяких партий и фракций, он твёрдо знает, что всё это не может поколебать его власть. Власть его пребудет несокрушимой до тех пор, пока не прейдут это небо и эта земля. Мёртвое небо — обман зрения, сгустившаяся пустота, и мёртвая земля — гробница всего, что порождается ею для недолгой жизни. И все эти недолго живущие карабкаются по эволюционно-социальной лестнице, стремясь во что бы то ни стало отсрочить неизбежную смерть. И если прежде они молили о продлении жизни всяческих богов, то к кому же сегодня обращается их последняя надежда? К нему и только к нему, к Филиппу Преображенскому, жрецу всемогущей Науки. Поэтому ещё важнее, чем прежде, взобраться по этой лестнице на самые верхние ступени, поближе к вознесённому выше всех великому учёному. Он уже омолодил их половые железы, заменив их обезьяньими, он сулит и бóльшие чудеса. Помнишь, читатель, как во время приёма скулил старый развратник:

— Эх, профессор, если бы вы открыли способ, чтобы и волосы омолаживать!

— Не сразу, не сразу, мой дорогой, — бормотал Филипп Филиппович, но отнюдь не отказывался.

И ему решительно всё равно, кто находился до 17-го года на том месте, где сидит сейчас Пётр Александрович (или тот военный, который доставит ему в самом конце шариковский донос), и кто займёт это место в том случае, если Петра Александровича удастся всё-таки «разъяснить» и спихнуть. Кто бы там ни оказался, он будет создавать своему божеству необходимые условия для научного поиска и так рывкнет на любого Швондера, что...

Что же касается пациентов Филиппа Филипповича ступенькой ниже, тех, кого мы видели на приёме, то и они, судя по замашкам, до 17-го года отнюдь не в полойках рылись. А если кто и рылся, то сейчас вдвойне должен оценить роскошную свою жизнь и того, кто обещает эту жизнь продлить. Вот и всё. А ещё ниже смелый учёный опуститься не может по вполне естественным причинам. Ведь какой бы всемогущей ни была наука, заменившая Господа Бога, отца и мать, но и она на всех не напасётся. Ни чёрной икры, ни гениальных хирургов, ни червонцев, которыми хирурги оплачиваются, ни обезьяньих половых желез. Да, последнее обстоятельство самое немаловажное. Обезьяны животные

дефицитные. Не так уж много крупных человекоподобных обезьян проживает в далёких экваториальных странах.

Ну, не беда! Великий учёный уже идёт по новому, более эффективному пути. И более экономичному, между прочим. Он собирается экспериментировать на животных, которых пруд пруди, и далеко ходить за ними не надо.

Этим и завершается священная трапеза — малое таинство. Назревает таинство великое.

— ...Вот что, Иван Арнольдович... следите внимательно: как только подходящая смерть, тотчас со стола — в питательную жидкость и ко мне.

(Нет, не зря гробницей назвал Булгаков тот стол, за которым ест сам Филипп Филиппович.)

— Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, патологоанатомы мне обещали, —

ответствует Борменталь и устремляется — куда же? Вовне, за пределы текста, туда, где находишься ты, читатель! Берегись, как бы твоя смерть не оказалась самой для него подходящей.

А Преображенский едет в Большой театр, поскольку он, как выясняется, очень любит оперу.

Влюблённый читатель горделиво улыбается. Он не ошибся в выборе своего «предмета». Кто же не знает, что боги и полубоги от науки обожают классическую музыку? Иной на скрипке наяривает, иной... Нет, Булгаков удивительно точен. Изображает самое то.

Да, читатель, Булгаков необыкновенно точен. И он всё знает про своего героя. И то, что он оперу любит, и какую именно оперу. Попадись «Собачье сердце» какому-нибудь филологу-структуралисту, он бы сразу сказал, что опера «Аида» просто припаяна к тексту произведения. Она звучит на первой странице, ею завершается страница последняя, она возникает во всех кульминациях. Перечитай первую страницу, то место, где Шарик вспоминает лето в Сокольниках:

И если бы не гримза какая-то, что поёт на лугу при луне — «милая Аида», — так, что сердце падает, было бы отлично.

Вряд ли у Преображенского «сердце падает» от «милой Аиды», но он тоже предпочитает не слушать эту арию и едет сразу ко второму акту. Ибо во втором акте появляется тот, на кого будет он смотреть как замороженный, позабыв о времени — так женщины и дети порою смотрятся в зеркало. Он и смотрится в него, как в зеркало, это его, Филиппа Филипповича, изображение — верховный жрец Древнего Египта, двойник бо-

жества, властелин, перед которым склоняются цари. И держится его власть на великом и сокровенном знании, которое в просторечии зовётся новейшим достижением науки.

«К берегам священным Нила», — поёт жрец.

«К берегам священным Нила», — поёт Преображенский.

Читатель явно недоволен. Ему хочется считать, что Филипп Филиппович ездит в Большой из любви к бель канто. В конце концов, «Аида» — что это за опера для интеллектуала? И сравнение со жрецом натянуто! Выражение «жрец науки» — чисто метафорическое. Что общего между современной, опирающейся на эксперимент, наукой, и тёмными суевериями далёких эпох? — А не доводилось ли тебе, читатель, слышать, что новое — это хорошо забытое старое?

Что же касается «Аиды», то пролистай ещё несколько страниц, и прочтёшь:

Если в Большом не было «Аиды», и не было заседания Всероссийского хирургического общества, божество помещалось в кабинете в глубоком кресле.

Следовательно, Булгаков подчёркивает, что его герой ездил слушать эту и только эту оперу.

Итак, он уезжает в театр. А ты, читатель, вместе с Шариком-псом останешься в его квартире. Ты, надо сказать, поступишь совершенно правильно: в этом небольшом снаружи и столь просторном внутри мире, который сотворён булгаковским словом и зовётся «Собачье сердце», самое лучшее место — эта прекрасная квартира. Там, за окнами, холод и мрак. Там завывает вьюга. Там умирают от голода, от болезней, от страха перед террором и репрессиями. И самое страшное — там рыщет доктор Борменталь, рыцарь науки, заключивший союз со смертью. И все ночные убийцы состязаются перед ним в своём искусстве. Но он не спешит. Он ждёт самого искусного из них. Того, кто убивает одним ударом в сердце. В молодое сердце — для того, чтобы все прочие органы, которые пойдут в дело, тоже были молодыми и здоровыми.

Справедливости ради надо отметить, что в то время, к которому относится действие «Собачьего сердца», человеческие жертвоприношения во имя торжества разных научных теорий совершались, и в немалых масштабах (например, война мировая, и многое другое в том же роде), но происходило всё это крайне беспорядочно. Прав был Филипп Филиппович, когда утверждал, что разруха не в клозетах, а в головах. Согласитесь, что совершенно нелепо для серьёзного учёного ожидать, как милости, услуг доморощенного убийцы. Но, глядя на профессора Преображенского, начинаешь верить, что он сумеет преодолеть и эти трудности. «Упорный чело-

век, настойчивый. Всё чего-то добивался», — характеризует его автор на последней странице «Собачьего сердца». И он уже многого добился. Посмотрите, с какой вдохновенной методичностью осуществляется в его квартире — этом храме порядка посреди разгромленной Москвы — заклание малых жертвенных животных для малого таинства — трапезы Филиппа Филипповича. Пёс Шарик сходу окрестил кухню в квартире Преображенского главным отделением рая. Но это не тот, традиционный, населённый святыми праведниками рай, куда боялся попасть Гекльберри Финн, дабы не помереть там со скуки. Всё в этом раю наводит на мысль об иных богах: «заслонка с громом отпрыгивала, обнаруживала **страшный ад**, в котором пламя клокотало и переливалось», «пламя стреляло и бушевало», «в багровых столбах горело **вечной огненной мукой**» лицо поварихи Дарьи Петровны. Если это и рай, то такой, в который попадают за беспорочную службу Молоху. И неутомимая Дарья недаром занимает здесь прочное место:

Острым узким ножом она отрубала беспомощным рябчикам головы и лапки, затем, как **яростный палач**, с костей сдирала мякоть, из кур вырывала внутренности.

Ты ведь уже согласился, читатель, что автор «Собачьего сердца» словами не швыряется? Безответственно было бы со стороны любого автора, даже самого что ни

на есть сатирического, сравнивать усердную повариху с яростным палачом. Но трапезу Преображенского готовит не простая кухарка — это жрица Молоха и, по совместительству, Астарты.

«Матерь наслаждений» играет в волшебной квартире в Обуховом переулке не последнюю роль. Над бесстрастным Верховным жрецом она власти не имеет (**папская тиара, патриарший куколь** в сцене операции — первосвященник безбрачен). Наоборот, Астарта служит ему, она у него в маклерах, она поставляет ему клиентуру:

— Верите ли, профессор, каждую ночь обнажённые девушки стаями («Зеленоволосый»).

— Это моя последняя страсть. Ведь это такой негодяй! («Ведьма в бриллиантах»)

Дарья же, как пушкинская Клеопатра, «на ложе страстных искушений» восходит «простой наёмницей» и исполняет свой долг безукоризненно. Подобно служительницам древних астартиных капищ, расточавшим своё пламя всем смертным без различия: богатым и бедным, красавцам и уродам, здоровым и увечным, — она служит своей богине, не гнушаясь ничем. Полиграф Полиграфович Шариков произошёл из собаки на Дарьиных глазах, с него ещё не вся собачья шерсть слезла, он ещё блох зубами ловит, но уже отмечен знаком Дарьиного внимания:

— ...Шикарный галстук. Дарья Петровна
подарила.

В сцене, где Шариков покушается на храмовую весталку Зину, Дарья — «грандиозная и нагая» — произносит слова, которые могли бы показаться двусмысленными, если бы не были совершенно недвусмысленными:

— ...Я замужем была, а Зина — невинная
девушка.

И если учесть, что в другом месте сказано, что целомудренный Борменталь «стыдливо прикрывал рукой горло без галстука», то Дарьяина нагота перед лицом двух учёных приобретает поистине космический масштаб.

И целомудрие Борменталья отнюдь не помеха для Дарьяиных вождедений. В дневнике учёного записано: «Оказывается, Д. П. была в меня влюблена и свистнула карточку из альбома Филиппа Филипповича». Слово «влюблена» в данном случае всего лишь эвфемизм деликатного учёного. Влюблённость относится к сфере несуществующей души. Ни в «Собачем сердце», ни в каком другом сердце по всей «цепи великой от пса до Менделеева-химика» нет места подобным чувствам, не подтверждённым научным экспериментом. Нет ему места и в той сцене, которую подсматривает лежащий на тёплой плите пёс Шарик:

...Черноусый и взволнованный человек в широком кожаном поясе <...> обнимал Дарью Петровну. Лицо у той горело мукой и страстью всё, кроме **мертвенного**, напудренного носа.

Труп, читатель, это проступает труп. Всевластная и неотвратимая смерть и в эту минуту напоминает о себе.

А рядом, через две комнаты, в кабинете Преображенского всё та же смерть выступает невозмутимым ассистентом учёного в его упорных научных поисках. Шарик

...Глядел на ужасные дела. В отвратительной жиже в стеклянных сосудах лежали человеческие мозги. Руки божества, обнажённые по локоть, были в рыжих резиновых перчатках, и скользкие тупые пальцы копошились в извилинах. Временами божество вооружалось маленьким сверкающим ножиком и тихонько резало жёлтые упругие мозги.

Чьи это мозги, читатель? Ах, не всё ли равно! Ведь смерть, как известно, не разбирает. Вот и доктор Борменталь так думает: «Не всё ли равно, чей гипофиз?» — запишет он в своём дневнике после небывалой операции. А вот показания к операции:

Постановка опыта Преображенского с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения вопроса о приживаемости гипофиза, а в дальнейшем его влияния на омоложение организма у людей.

В свете поставленной грандиозной задачи может ли что-то значить какая-то отдельно взятая личность? Да и где она? Её уже нет в помине. Остался труп, и важно одно — чтобы он был наилучшего качества. Ведь ему суждено способствовать прогрессу науки и, следовательно, счастью всего человечества. Ведь постоянное омоложение — это же бессмертие, чёрт побери!

Вот что сулит наука:

...Не умрёте... но будете, как боги!

Здесь уместно задать читателю такой вопрос: уверен ли он, что этого счастья хватит на **всё** человечество? Мяса животных, как известно, на всех не хватает, про икру и говорить нечего, а тут — такое дело. Но читатель не слышит. Он захвачен суматохой в квартире Преображенского, волнение героев передалось ему. Затаив дыхание, он готовится лицезреть великое таинство — «нехорошее пакостное дело, если не целое преступление». Чьи это слова, читатель? Кто в сцене операции прямо называет Филиппа Филипповича жрецом:

В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы
напевал про священные берега Нила,

— неужели собака Шарик? Ты и впрямь уверовал, что собаки знают подобные слова? — Нет, это звучит прямая авторская речь, и ты обязан выслушать её, а не ссылаться на то, что тебе, мол, не до этого, твоё внимание поглощено уникальной операцией, «не имеющей равных в Европе».

Итак, перед тем как Шарикуну вознестись по лестнице эволюции, ему «почему-то в ванне померещились отвратительные волчьи глаза». Зина, допущенная к таинству весталка, «оказалась неожиданно в халате, похожем на саван». Глаза её стали «такие же мерзкие», как у Борменталья, а у него они «фальшивые и в глубине их таилось нехорошее пакостное дело, если не целое преступление». Операция начинается: «Зубы Филиппа Филипповича сжались, глазки приобрели остренький колючий блеск». На рану Шарика «Борменталь набросился хищно». «Лицо его (Борменталья) стало мясистым и разноцветным». «Лицо Филиппа Филипповича стало страшным». «Филипп Филиппович стал положительно страшен... зубы открылись до дёсен». «Борменталь коварно кольнул Шарика где-то у сердца». «Иду к турецкому седлу, — зарычал Филипп Филиппович». Несколькими строчками ниже профессор «злобно заревел», «лицо у него при этом стало, как у вдохновенного разбойника».

Учёные «заволновались, как **убийцы**, которые спешат». «Филипп Филиппович отвалился окончательно, как **сытый вампир**».

— Но ведь это всё образные выражения! — возопит читатель. — Кто же не знает, что хирургическая операция требует огромного напряжения интеллектуальных и физических сил! Подозревать врача только потому, что он зубы стиснул, что с него пот градом катится!..

Прости, читатель, но в этой сцене нет никаких врачей. Герой «Собачьего сердца» — «божество», «жрец», «учёный», не имеющий равных в Москве, Лондоне, Оксфорде. Филипп Филиппович даже в тот час, когда Борменталь предлагает ему убить Шарикова, не называет себя врачом, он иначе аргументирует свой отказ:

— Я — московский студент. — Филипп Филиппович горделиво поднял плечи и сделался похож на древнего французского короля.

Булгаков только один раз называет Преображенского и Борменталья «врачами» (когда они обсуждают возможное убийство своего подопечного) и ещё один раз — «оба эскулапа». Но Эскулап — это всё же не врач. Это греческое божество во французском произношении, оно обитает в благословенных краях, во храме, среди миртов и лавров. А врач — это тот, кто в ледяную стужу и

вьюгу тащится к больным в Грачёвку Мурьевского уезда, и счастье ещё, что по дороге лежит культурный центр Грабиловка, там можно переночевать и отогреться в домишке учителя.

Поскольку это путешествие описано всё тем же Булгаковым в «Записках юного врача», и создавались эти «Записки» одновременно с «Собачьим сердцем», то ты, читатель, можешь не сомневаться, что наш автор отлично знал, что такое врач и чем он отличается от учёного, тем более «великого учёного». «Великий учёный» должен быть знаменит и богат — иначе поди докажи, что ты великий. Но прославиться среди мужиков, до того тёмных, что они себе горчичники на зипун ставят? Сама идея — полный абсурд. С тем же успехом можно разбогатеть, врачуя этих мужиков. Что-что, а уж это они отлично знают — доктор их лечить обязан, ему за это казённое жалованье положено. Однако герой «Записок» и не ждёт никаких подношений. Ему, булгаковскому врачу, это запрещает его булгаковская этика. Он даже от «полотенца с петухом» пробует отказаться, но потом берёт его из жалости к девушке, которую он чудом спас от неминуемой смерти. Возникает вопрос, чего же ради он с таким усердием их лечит, вскакивает по ночам, мчится по морозу, едва выйдя из горячей ванны — «воспаление лёгких обеспечено!». Вывод напрашивается совершенно нелепый — он их любит. За что, если учесть всё вышесказанное? На это есть

только один ответ — за то, что они люди. Ну, может быть, они ему кого-то напоминают.

Надо отдать должное Юному врачу — он нигде об этой любви не заявляет. Он о ней молчит — слишком много о ней говорят и кричат другие. Зато он делает совершенно удивительное заявление — он говорит, что он ненавидит смерть:

Я так всегда при виде смерти. Я её ненавижу.

Прислушайся к этим словам, читатель. В том мире, где смерть признана единственной абсолютной величиной и даже объявлена подательницей жизни — живое произошло из неживого, это каждый школьник знает, — такие слова даже произнести невозможно. Но ведь Юный врач отнюдь не похож на сумасшедшего — что же он прёт поперёк объективной реальности? Может быть, он живёт в другом мире, и там другая объективная реальность, другое небо, другая земля?

Во всяком случае, совершенно непреложно: когда Юный врач оперирует с огромным напряжением физических, интеллектуальных, а также душевных сил, то никаких ассоциаций ни с убийцами, ни с вампирами не возникает. Так что, читатель, тут тебе не отпираться: «убийца» и «вампир» — это не образные выражения, это персональные эпитеты твоего обожаемого учёного.

Но читатель не думает сдаваться. Не зря же он с младенчества воспитан в преклонении перед наукой. Он твёрдо выучил, что в науке самое главное — результат, учёных судят по результатам, а они налицо — блистательные, неподражаемые:

Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу. Проф. Преображенский, вы — творец. (Клякса).

— так записывает Борменталь в своём дневнике, который он начинает вести сразу же после операции в самый тёмный и зловещий день года — 22 декабря. Ты, читатель, естественно, не видишь оснований для того, чтобы с ним не согласиться.

Но что же получается — не успел читатель полюбоваться на вышеназванный результат, на новую человеческую единицу по имени П. П. Шариков, как ему уже хочется запустить в него чем-нибудь тяжёлым, а Борменталь, одописец его возникновения, откровенно признаётся, что готов покормить его мышьяком. И вот уже в «полнейшей и ужаснейшей» тишине, во мраке глухой ночи, «творец» вновь раскладывает своё творение на составные части, «новая человеческая единица» исчезает, пёс Шарик восстановлен в своём первоначальном виде.

Что же, выходит, опорочены блестящие результаты Преображенского? Выходит, что сам учёный потерпел

фиаско? Ничуть. Он только подтвердил своё право называться «творцом». Более того, если результат первой операции был всё же неожиданным, если человек из собаки появился случайно, то во время второй учёный проявил себя уже как полновластный властелин, и собаку из человека он сделал совершенно сознательно.

Вдумайся, о читатель, в то, что произошло. Филипп Преображенский превратил человека в собаку за то, что человек этот покусился на его житейский комфорт. На **ваш** комфорт, потому что твоя душа во всё время чтения слита с душой профессора воедино. И превращение человека в собаку, соответственно, происходило при твоём сочувствии и соучастии.

Но читатель и ухом не ведёт. Он высоко ценит звание человека и именно поэтому не намерен этим званием разбрасываться. Шариков — гнусный, пьяный, матерящийся, воняющий дохлыми кошками — звания человека явно не достоин. Не человек это, а «такая мразь, что волосы дыбом встают» — так заявляет сам Преображенский, и любой, кто читал «Собачье сердце», подпишетя под этим заявлением. И тогда встаёт вопрос наиважнейший — кого же, собственно, считать человеком? Где в «цепи величайшей от пса до Менделеева-химика» проходит граница, за которой начинаются «высоко стоящие», не говоря уже о «чрезвычайно высоко стоящих»? Кто возьмётся определить эту границу? — Только наука. Тут вся надежда на науку, в лице её лучших, талант-

ливейших представителей. И недаром же Преображенский — «жрец», «властелин», «божество», наконец, «творец», — утверждает:

Человечество... в эволюционном порядке каждый год упорно, выделяя из **массы всякой мрази**, создаёт десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар.

Можно не сомневаться, что «выдающиеся гении» сумеют постоять за себя, отмежеваться от «массы всякой мрази» и указать ей подобающее место. И средства для этого уже изобретены, и качество и количество этих средств всё возрастает.

Тут опять напрашивается вопрос, но уже более скромный — есть ли гарантия, что в такое немаловажное дело, как научное размежевание на «мразь» и «высоко стоящих», не вкрадётся ошибка? Ведь даже у самого Филиппа Филипповича, не имеющего равных ни в Москве, ни в Лондоне, ни в Оксфорде, произошла всё же некоторая осечка.

Однако читатель как нельзя лучше готов к обороне. Во-первых, ему известно, что ошибки гениев способны влиять на мировой прогресс куда заметнее, чем запланированные достижения рядовых учёных. Во-вторых:

«Ф. Ф. как истый учёный признал свою ошибку... От этого его изумительное, потрясающее

открытие не становится ничуть меньше».
(Дневник Борменталья).

В-третьих, вся свистопляска с Шариковым, бросающая тень на результаты блестящего эксперимента, произошла отнюдь не по вине учёного.

Тогда по чьей же? Кто виноват?

Профессор Преображенский даёт на это ясный и чёткий ответ — виноват Клим Чугунов. А раз Клим, то, стало быть, и его убийца, который нанёс «удар ножом в сердце» не тому, кому нужно. Вот если бы в пивной «Стоп Сигнал» у Преображенской заставы зарезали Спинозу!..

— Филипп Филиппович! А если бы мозг Спинозы?

— Да! — рявкнул Филипп Филиппович. — Да! ...Можно привить гипофиз Спинозы или ещё какого-нибудь такого лешего и соорудить из собаки чрезвычайно высоко стоящего, но на какого дьявола?

Да, на какого дьявола? — спросим и мы вслед за Филиппом Филипповичем. Ведь не думаешь же ты, читатель, что, возникни в квартире учёного Спиноза, он не стал бы претендовать на жилую площадь? Да ведь ему сверх Шариковых шестнадцать аршин ещё излишки причитаются, на научную работу. Или ты считаешь,

что «высоко стоящий» должен пренебречь тем, что ему положено по праву рождения, и смиренно отправиться на помойку?

Шариков, подученный Швондером, вопит, что он не давал согласия на операцию, что он иск может предъявить. «Высоко стоящий» так глупо себя вести бы не стал. Он скорее потребовал бы признать себя соавтором великого открытия. Сомневаешься, читатель? Зря. Ты ведь не по книжкам знаком с научным миром. Но если ты веришь только книжкам, то открой «Роковые яйца» и прочти, как профессор Персигов приглашал в соавторы своего ассистента Иванова. Знал, что делает, старик. Не в одних только лягушках разбирался, но и в людях тоже. Ведь недаром же Персигов, чуть что не так, сразу же звонит на Лубянку. Вот и Иванов, обидевшись, что не он, а Персигов сделал открытие, вполне мог бы туда позвонить. А уж гениальный Спиноза в два счёта достал бы нужный телефон. Так что Преображенский совершенно прав, категорически отказываясь сооружать Спинозу из собаки. Добра из этого не выйдет.

...Будете, как боги, знающие добро и зло.

Так оно и есть. «Божество», обитающее в Обуховом переулке, отлично знает, что добро и что зло. И даже на Шарикова, которого «боги» соорудили своими силами и своим талантом, пролился свет этого знания, и он

прекрасно разбирается, где добро и в чём зло. И все его помыслы и действия направлены исключительно на стяжание добра и избежание, по возможности, зла.

Ты удивлён, читатель? Ты прочитал, а затем перечитал «Собачье сердце» до конца и ничего такого не заметил? Такова волшебная сила искусства — апеллируя к чувству, она иной раз совершенно лишает объективности. Находясь целиком и полностью на стороне Преображенского, ты видел только, как Шариков посягает на **его** добро и причиняет **ему** зло. Но ведь по отношению к самому себе он ведёт себя диаметрально противоположно. Иначе и быть не могло. Ведь божество сотворило его по всем правилам науки, той самой науки, которая подразумевает межвидовую борьбу, а также борьбу внутривидовую. Шарик-пёс, между прочим, никаких склонностей к межвидовой борьбе не обнаруживал, непримиримость к кошкам выиграла в нём только в результате пересотворения. Да и в отношении внутривидовой борьбы, той самой, что на языке Швондера зовётся «классовой», он был совершенно пассивен.

Читатель содрогается от отвращения. Он слышать не может о классовой борьбе, неизбежно сопряжённой с террором, который Преображенский так убедительно заклеил в самом начале повествования. Безусловно, читатель прав. Классовая гармония несравненно лучше классовой борьбы. Именно гармония между «массами всякой мрази» и немногочисленными «гениями,

украшающими земной шар». И ты веруешь, читатель, что науке под силу установить подобную гармонию, и уж конечно безо всякого террора, а «лаской, единственным способом, который возможен в обращении с живым существом» (Ф. Ф. Преображенский). Так почему же в роскошной квартире в Обуховом переулке не возникло подобной гармонии? Ведь и гений был налицо, и мразь «такая, что волосы дыбом встают».

Читатель вне себя от возмущения. Он потрясает теми страницами, в которых описываются похождения Шарикова-человека. Он не просто омерзителен, он опасен для окружающих. Да, Шариков, обработанный негодяем Швондером (ведь ясно же, кто тут главный злодей), представляет собой потенциальную опасность. Нет, почему же потенциальную? Он успел настрочить на Преображенского (на своего создателя!) ужасный донос, он вооружился револьвером и угрожает Борменталю.

Увы тебе, читатель. Те же самые страницы свидетельствуют против тебя. Филипп Филиппович начинает обдумывать превращение человека в собаку задолго до доноса и револьвера — после эпизода с котом и затоплением квартиры, в результате чего был сорван приём. Убытки (помимо разбитых стёкол, испорченных ковров и т. д.) составили, как ясно сказано, 390 рублей. Есть над чем задуматься.

В прозрачной и тяжёлой жидкости плавал,
не падая на дно, малый беленький комочек,

извлечённый из недр Шарикова мозга...

Высокоучёный человек... воскликнул:

— Ей-богу, я, кажется, решусь.

А вот что подводит Борменталья к идее «покормить его мышьяком» — Шариков спёр два червонца, а его пьяные гости, убираясь, прихватили с собой пепельницу, бобровую шапку и памятную трость Филиппа Филипповича.

Устыдись, читатель! Смертная казнь за такую ничтожную кражу! Как бы там ни было, но лишь после этих трагических событий Борменталь провиденциально замечает:

— ...Да ежели его ещё обработает этот Швондер, что ж из него получится?!

Выходит, смертная казнь в целях профилактики?

Читатель на это ничего не отвечает. Только что был упомянут Швондер, фигура настолько зловещая, что даже при мысли о нём можно лишиться дара слова. Читатель твёрдо убеждён, что страшнее Швондера зверя нет по всей цепи великой от пса до Менделеева-химика. Но ведь Швондеру уже было указано его место на эволюционно-социальной лестнице, и он — как же ты, читатель, этого не заметил? — носу не показывал в квартире Преображенского. Разве он возобновляет свои требования об уплотнении квартиры? Да

как он посмеет после приказа самого Петра Александровича! Но профессор в данном случае сам подал повод ищущим повода, он, выражаясь языком домово́й книги, самоуплотнился. Швондер может только злорадоваться, но на самых законных основаниях, Шариков же имеет законное право на ту жилплощадь, на которой он зародился. С какой стати ему жертвовать своими правами? Находясь внутри «Собачьего сердца», видел ли ты хоть раз, о читатель, чтобы кто-то отказался от своего добра?

...Будете, как боги, знающие добро и зло.

И неужели Шариков, созданный богами в лабораторных условиях, должен вести себя по-другому? Да что за нелепая идея спрашивать с того, кто произошёл от собаки, больше, чем с тех, которые произошли от обезьяны? Несправедливо также требовать, чтобы Шариков был благодарен Филиппу Филипповичу за то, что тот его сотворил. Подобная мысль нет-нет, да мелькает у каждого читателя «Собачьего сердца». Но разве кто-нибудь поблизости возносит благодарность за своё сотворение? И кого прикажете благодарить? Всё живое произошло из неживого по чистой случайности, Шариков здесь не исключение, все прочие также явились на свет исключительно по воле случая. Но раз уж такой случай выпал, надо использовать его до отказа. Таков закон жизни, подтверждённый и освящённый наукой,

той самой, что пришла на смену всем религиям. Именно этот закон повелевает Шарикову остервенело гоняться за котами. Но, как справедливо заметил Филипп Филиппович:

— Коты — это временно... Это вопрос дисциплины и двух-трёх недель.

Естественно, ведь непримиримость к котам — это не что иное, как межвидовая борьба. Осознав её как пройденный этап, Шариков активнейшим образом включается в борьбу внутривидовую. Ты, читатель, негодуешь на него как на неслыханного рвача, а он просто не может вести себя иначе — он неукоснительно подчиняется закону, согласно которому он сотворён и пересотворён. И воспитание, которое он получает от своих создателей, пронизано идеями всё той же науки и может только развить и усилить его природные склонности.

Наиболее выразительная попытка учёных воспитать Шарикова происходит во время обеда. Это второй обед, изображённый в «Собачем сердце», и ты, читатель, присутствовавший также и на первом обеде, вероятно, помнишь, что трапезы Филиппа Филипповича суть священные ритуальные действия, малые таинства, но всё же таинства. Лучшего времени и места для посвящения в «высоко стоящие» не найти. Ведь именно еда, именно способ питания, согласно науке, прежде всего отличает

одних животных от других — всех этих жвачных, травоядных, насекомоядных, хищников и проч. А уж внутривидовые различия и подавно определяются по способу питания — достаточно сравнить столовский обед для служащих Совета нормального питания, описанный Шариком в начале «Собачьего сердца», и каждодневные пиршества Филиппа Филипповича, — и всё сразу делается ясно, сразу видно, кто на какой ступени стоит.

И недаром во время первого обеда еда явилась темой проповеди:

— ...Нужно не только знать, что съесть, но и когда и как. <...> И что при этом говорить.

С той же проповедью, только смещённой в практическую плоскость, Борменталь во время обеда второго обращается к Шарикову.

Ты хочешь сказать, читатель, что Шариков не способен воспринять столь возвышенную проповедь? Но вот ведь — воспринимает: салфетку заложить — закладывает, вилкой есть — ест вилкой, водку разливать в установленном порядке — и это делает.

Ты думаешь, что он поступает так под нажимом извне? Что истинный смысл проповеди не ложится на его сердце? Клевета! Он настолько проникся этим смыслом, что даже предлагает своё толкование к словам жреца «и что при этом говорить»:

— Вот всё у вас, как на параде... а так, чтобы по-настоящему, — это нет...

— А как это «по-настоящему?»...

Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филипповичу, а поднял рюмку и произнёс:

— Ну, желаю, чтобы все...

— И вам так же, — с некоторой иронией отозвался Борменталь.

Приверженный фактам учёный не может не оценить результата:

И Филипп Филиппович несколько подобрел после вина. Его глаза прояснились, он **благо-**
склонно поглядывал на Шарикова.

Читатель, понимаешь ли, трепещет, что мерзкого Шарикова обработает гнусный Швондер, а он ни в какой обработке не нуждается, даже со стороны своего творца Преображенского. Ему надо только дозреть. Великий учёный, используя в качестве полуфабрикатов бездомного пса и Клима Чугунова, создал **новую** человеческую единицу, и создал вполне традиционно — по своему образу и подобию. И в то место, где могла бы находиться пресловутая душа (а теперь оно совершенно пустое), прекрасно уместилась основополагающая идея его — а теперь уже их общей — жизненной философии: есть и вообще

жить надо по самому высшему разряду. Да найдётся ли «по всей цепи великой» какая-нибудь бездушная тварь, которая станет возражать против этой идеи? Во всяком случае, никак не твердокаменные марксисты (Пётр Александрович и пр.), ждущие операции Преображенского для максимального продления своей собственной жизни «по высшему разряду». А шавки всякие, как то Швондер, Пеструхин etc., просто ещё (или уже) не достигли этого разряда. Вот и занимаются демагогией. А почему бы и нет, если для столь многих она оказалась столь прибыльной? Вот и сам Филипп Филиппович не побрезговал ею, когда возникла угроза его бесподобному существованию со стороны обнаглевшего Шарикова.

Как?! Филипп Филиппович?!

Да, не кто иной как он. В конце обеда второго, оценив по достоинству успехи своего питомца, великий учёный предлагает ему:

— Учиться¹ и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социалистического общества.

Читатель бледнеет, теряет сознание и с грохотом падает под стол.

¹ В отличие от классика марксизма Филипп Преображенский произносит слово *учиться* единожды, а не трижды. Но звучит весомо.

А вот когда пришла пора издавать «Собачье сердце», почти через семьдесят лет после его написания, когда Преображенские набрались такой силы, что отменили к чертям социалистическую демагогию, точно так же, как в 17-м году они отменили демагогию религиозную, то побледнел редактор.

Побледнел, но в обморок не свалился. Он взял, да заменил слово «социалистического» на похожее. Получилось — «социального общества». Вот ведь мерзавцы находятся — приписать величайшему писателю XX века такое безмозглое словосочетание. Но ты, читатель, не сомневайся. Когда ты читал эту повесть в первый (второй, третий) раз в самиздатовском варианте, там стояло слово «социалистического», ты просто проглядел его в вихре эмоций, как и многое другое.

Итак, с марксистской демагогией мы разобрались. Ею в квартире Преображенского, этом сердце «Собачьего сердца», никого не испугаешь и не удивишь. Ещё бы, ведь этот марксизм самый что ни на есть внебрачный сын дарвинизма. Просто он возрос, подобно многим незаконно-рожденным, в церковно-приходском приюте, вот и нахватался всякой благостной лексики: «равенство», «братство», «справедливость». «Любви к ближнему» только ещё не хватало! Нет, что ни говори, противоречив этот марксизм. Научная ментальность и христианская сентиментальность — куда это годится?!

Но Филипп Преображенский — законный сын соборного протоиерея Филиппа Преображенского — все

эти сантименты, апеллирующие к несуществующей душе, решительно и со знанием дела вышвырнул из своей квартиры. Их место там, в подворотне, возле мусорных ящиков, на самых низких ступенях эволюционно-социальной лестницы. Их испытывает голодный пёс Шарик, голодная машинисточка, да ещё повар Влас (наверняка личность малообразованная), подкармливавший бездомных собак. Ах, этот Влас! Какой панегирик слагает ему бедный Шарик на первых страницах повести, какие прочувствованные слова в его адрес вырываются из доброго, благодарного собачьего сердца.

Стоп! Так чьё же, всё таки, сердце бьётся в груди Полиграфа Шарикова? Сердце Клима, мастерски пронзённое убийцей — добровольным споспешником науки, как нам известно, осталось в морге, а «собачьим сердцем» аж всё произведение названо. Неужели наш автор, у которого каждое слово на вес золота, продешевил в таком важном деле, как название повести?

И вот теперь, читатель, тебе придётся временно покинуть пространство изучаемого текста, сделать, так сказать, отступление за его границы.

Была некогда на этом свете прекрасная и несчастная порода людей. Звалась она русская интеллигенция. Почему прекрасная? Потому что её Бог такой создал. Почему несчастная? Потому что она Бога забыла. Очень уж постарались для этого такие иереи, как Филипп Пре-

ображенский-старший, а потом уже Наука подросла, новый бог со своими чудесами и своими иереями, вроде Филиппа Преображенского-младшего.

Люди этой прекрасной несчастной породы превыше всего на свете ценили честность и доброту, честность даже выше доброты ставили. Прикоснувшись к деньгам, тотчас же мыли руки, и не только из гигиенических соображений. А ещё они верили в настоящую любовь, как в «Мастере и Маргарите». А ещё они осуждали отношения, вроде бы на любовь похожие, но никак не на возвышенную, верную, вечную. Называли они подобные отношения «собачья любовь», причём произносили эти слова нечасто и вполголоса, чтоб дети не услышали. Поэтому, когда от русской интеллигенции остались одни воспоминания, то упомянутое выражение и вовсе в Лету кануло и до тебя, о читатель, не дошло. Но великий Булгаков, знавший, что такое настоящая любовь, и про «собачью любовь» слышал.

А великий поэт Мандельштам в своей прозе окрестил «собачьим племенем» всех скопом советских писателей, эту злобную свору, затравившую и его, и Булгакова. Может быть, поэт не придумал это именование? Может быть, оно ходило среди тех, кого эти писатели травили и загрызали? И почему Булгаков нарёк Шарикова Полиграфом? Такого имени нет в святцах (не ищи его, читатель, уже искали) и быть не может. Ведь «полиграф» по-древнегречески — «многопишущий», зачем бы древним грекам понадобилось такое имя? У них

ведь не было Союза писателей, обеспечивающего еду и жизнь по высшему разряду для членов правления и жирные объедки для просто членов. Тебя, читатель, конечно же, рассмешило и сейчас смешит имя-отчество Шарикова, но автору оно, несомненно, доставило двойное удовольствие. Хоть как-то, да поквитался он с теми, кто «погубил Мастера».

Да, читатель, не сомневайся, «собачье сердце», которое бьётся в груди гражданина Полиграфа, роднит с сердцем доброго пса Шарика только мышечная ткань. Но чувства, его наполняющие, точно такие же, как у многих и многих прямоходящих и высокостоящих — учёных, членов Союза писателей, партийных и государственных деятелей, военачальников и крепких хозяйственников. Чувства эти суть любовь к себе, жажда материальных благ в количестве чем больше, тем лучше, и лютая ненависть к тем, кто пытается эти блага урезать. И финальная битва на страницах «Собачьего сердца» разыгрывается вокруг Шариковских неотъемлемых шестнадцати аршин, а вовсе не на идеологической почве. Да если бы не эти спорные метры (как выразились бы герои позднейшей эпохи), стал бы Шариков строчить доносы на верховного жреца, да нет — на божество, которое создаёт новые человеческие единицы, продлевает существование старых, на словах и на деле учит тому, как жить и харчеваться по высшему разряду.

Нет, читатель, ты просто обязан задержать внимание и отметить, как скрупулёзно верен Филипп Филиппович своим идейным установкам даже в минуты тяжелейших испытаний. Вот они с Борменталем держат в ночи совет по серьезнейшему вопросу — убивать или не убивать Шарикова. А вот непрменная атрибутика этого совещания:

Между врачами (sic!) на круглом столе...
стояла бутылка коньяку, блюдечко с лимоном
и сигарный ящик.

Остроумцы-французы любят говорить, что *дьявол прячется в деталях*. В данном случае их остроумие неуместно. В квартире Преображенского дьявол не прячется. Он здесь развалился во всю её длину и ширину — и если ты не хочешь его замечать, читатель, то можешь объявить оптическим обманом и всё то, что происходит за пределами этой великолепной квартиры: нищету, голод, холод, репрессии, пытки, изнурительный труд *массы всякой мрази* ради светлого будущего для себя и тёмного, но соблазнительного настоящего для хозяев и гостей всё той же квартиры.

Однако чем закончилось совещание? Да ничем, если не считать очередной хулиганской выходки пьяного Шарикова. И неужели, читатель, ты всерьёз возомнил, что твой герой, «величина мирового значения», станет

о чём-то советоваться с каким-то Борменталем? Может, он ещё и с тобой посоветуется?

— ...Вы-то ведь не величина мирового значения.

— Где уж... <...>

Филипп Филиппович горделиво поднял плечи и сделался похож на французского древнего короля.

Он просто перед вами обоими позирует, а заодно даёт многословный выход накопившимся отрицательным эмоциям. Ещё бы — коммуналка с Шариковым! Да такой сосед не каждому пролетарию в страшном сне приснится. Но судьба этого соседа была predetermined задолго до мелкой кражи и оклеветания Зинуши. Прочитай несколько страниц назад, читатель, и ты увидишь, что сразу же после обеда второго, спровадив Борменталю с Шариковым в цирк, Филипп Филиппович вынул из шкафа банку, в которой

В прозрачной и тяжёлой жидкости плавал...
малый беленький комочек, извлечённый из
недр Шарикова мозга.

Наглядевшись и заперев банку в шкаф, он воскликнул:

— Ей-богу, я, кажется, решусь.

Никто ему не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки.

Но тебе, читатель, хорошо известно, что он решил-ся. И решился уже тогда.

«Не имеющий равных» ни в Москве, ни в Европе, ни в Лондоне, ни в Оксфорде, профессор Преображенский — это тебе не студент-недоучка Франкенштейн. Он лучше и раньше других оценил свой шедевр, но и самому себе цену знает. И он играет на опережение — и выигрывает. Знай наших, Франкенштейн!

А что до упомянутого шедевра по имени Полиграф Полиграфович, то и он не имеет себе равных и несомненно заслуживает восхищения, невзирая на битвё стёкол, пьяную матерщину и прочие Шариковские непотребства. В конце-то концов, это же всё временное. Дело двух-трёх недель, как выразился Филипп Филиппович применительно к охоте за кошками и прочему собачьему наследию. А пьяное непотребство — это наследие Клим Чугунова, и оно тоже будет изжито.

Не верь Преображенскому, читатель, когда он восклицает, что во всём виноват Клим. Он просто обманывает твою и Борменталья наивность. Он хочет вернее заручиться вашим согласием на уничтожение «новой человеческой единицы». Ведь вы его охотно дали, это согласие, при убийстве Клим-первого. Он и внушает вам, что перед вами — Клим-второй. Но кем был пер-

вый Клим? Трактирным балалаечником с циррозом печени. Протри глаза, читатель, разве таков Шариков?

Совершив по воле своего создателя гигантский скачок по эволюционной лестнице, он уже по собственной воле во всю прыть лезет вверх по лестнице социальной.

...Наголодался я в молодости достаточно...
а загробной жизни не существует.

Чей это голос? Того самого начальника и любовника несчастной машинисточки, который всплывал в сознании голодного пса в самом начале.

И вот он уже реализован и воплощён в образе П. П. Шарикова. И вот он уже входит в квартиру Преображенского, ведя за собой ту самую машинисточку.

...Будешь в роскошной квартире жить...
каждый день ананасы...

Нет, Филипп Филиппович не станет дожидаться судьбы Франкенштейна.

Преступление созрело и упало
(М. А. Булгаков).

Да, не какое-нибудь банальное убийство, за которое готов взяться рыцарь Борменталь, а преступление гран-

диозное, достойное Верховного жреца — **превращение человека в собаку.**

«К берегам священным Нила...»

Жизнь в «роскошной квартире» входит в своё русло, возвращается на привычный «самый высокий уровень». Прогрессу науки тоже ничто больше не препятствует —

Пёс видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги — упорный человек, настойчивый, всё чего-то добивался...

Преобразование человека в собаку состоялось окончательно и бесповоротно. Кто следующий?

Не пугайся, читатель, превращать *тебя* в собаку нет никакого смысла — дорого это, трудоёмко. А вот если тебя с миллионами тебе подобных лишит средств к существованию — ничего вам не останется, как кормиться из мусорных ящиков и обитать там же. Сами собой в бездомных собак превратитесь. Скотившись к подножию социальной лестницы, вполне логично продолжить движение вниз.

Шариков отлавливал и душил бездомных котов, чтобы воротники из них делать. А «новые единицы», возникшие в результате инволюции (и слово-то уже готово), они даже на органы не пригодны. Вон сколько их

объявления дают — «продам почку». Да кто у них купит? Покупать надо в солидных фирмах, которые отлавливают и убивают молодых, здоровых, ещё не успевших наголодаться. Внутривидовая борьба вышла на новый виток. Вернее сказать, наука её на этот виток вывела. В дикой природе пожирают друг друга, чтобы выживать до поры до времени. А тут такие горизонты открываются!.. А чего стесняться, если души нет и загробной жизни не существует? А вдруг? — Ну, тогда ещё больше резонов оставаться здесь и дожидаться, пока наука настолько продвинется, что гарантирует «самый высокий уровень жизни» и по ту сторону.

«К берегам священным Нила...»

Так что, сам видишь, читатель, ни о какой любви в контексте «собачьего сердца» и речи быть не может. Про любовь — это «Мастер и Маргарита». Но и там немало такого, над чем можно посмеяться. Булгаков есть Булгаков.

О Великий Насмешник!

О любимый наш Мастер!



Елена Грантовна Степанян
О Михаиле Булгакове и «собачьем сердце»

Редактор И. В. Ларикова
Макет и вёрстка Р. Р. Дименштейн

Подписано в печать 23.02.2011.
Формат 70×108/32.
Гарнитура CharterС. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 2. Заказ №

Издательство «Теревинф»
для переписки: 119002, Москва, а/я 9
тел./факс: (495) 585 0 587
эл. почта: zakaz@terevinf.ru
сайт: terevinf.ru
интернет-магазин: shop.terevinf.ru

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул Гончарова, 14